— Да, – сказал Яков Андреевич, – в тот год весна была теплее обычного, как-то всё играло и цвело. А офицеры – то те были штабные, они к Баклановым приехали, дом-то их видел? Знаешь?

– Ну, да. Бабушка показывала, – с неохотой отвечал я.

Этот город с деревянными покосившимися избами, в которых были перекошенные полы и белые печи, меня начинал раздражать. Зачем меня привезли сюда, я понимал, а общаться с незнакомым престарелым уродцем – было выше моего понимания. Меня, столичного подростка, пугала искалеченность старика. Да и вся эта прибранная полунищенская обстановка была не по мне. Его комната, маленький прямоугольник, отдавала больничной и заботливой ухоженностью.

– Где им, тыловикам, всё это понять – застолье было у них бурное, жировали не один день, – продолжал рассказывать он. – Среди них и нашего брата-фронтовика – полтора человека, я особиста в расчёт не беру: так, який всякий, гниль тыловая. Стол больно богатый у них был. Тушёнка, понимаешь, и трофейная, и союзная, колбаса, шоколад, сахар, хлеб, мясо откуда-то взяли, а водки и джину – хоть залейся. Им-то, оглоедам, почто знать про деток-то? Эти-то, шалопаи наши, такого пира уже несколько лет не видывали.

В углу, напротив его кровати, стояли деревянные ходули, убогие и ободранные, – вид искусственных ног пугал меня.

Он опять весело скривил губы, отстранённо посмотрел в окно и добавил:

– Вот как сейчас погода была, и, точно помню, седмица Светлая, пасхальная, вот как сейчас, только в сорок пятом. Томка, бабка твоя, послушная в детстве была. А Иришу, прабабку свою, ты помнишь?

– Помню, – раздражённо отозвался я.

– А сколько тебе годков сейчас?

– Шестнадцать.

В его жилище не было вещей, только кровать и табурет. Потолок комнаты был правильной формы и стерильно белый.

– Спор вышел среди детей, и очередь Томкина подоспела шкодничать, вот она и отважилась. Как стемнеет, по уговору с детворой надлежало ей подойти потихонечку к дому баклановскому и в форточку зашвырнуть кошку дохлую, – он как-то нерадостно усмехнулся. – Ну так она и сделала, а офицерьё-то совсем остервенело от выпитого за пару дней гуляний. Победители хреновы! Ну и высыпали все на улицу, давай стрелять. В воздух! В ребятню! Томка

успела домой добежать, и, скорее всего, кто-то сказанул, что она такая смелая у нас. Вот они и ворвались, давай орать да грозить, охвостье тыловое, пока я с кровати не сполз. Я, кол им в дышло, эти страхи все в сорок третьем под Курском растерял, а вот пиджак, что Ириша мне к победному дню справила, сгодился, да и звезда эта спасла.

Я неожиданно обернулся и увидел на старом, но ухоженном пиджаке в тёмно-коричневую и чёрную полоску награды: орден Славы первой степени, орден Отечественной войны второй степени, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Все эти награды были боевые, они тускло сияли, словно угасали под тяжестью событий и лет. Заметил я и золотую полосу, а под ней две красных на правой стороне пиджака рядом с гвардейским знаком отличия. Я знал: эта полоса означает тяжёлое ранение. Гражданский китель с боевыми наградами одиноко висел на деревянном стуле за моей спиной. Внимание было приковано к каждому слову, взгляду, шороху этого человека. Он выдохнул и утвердительно продолжил:

– Так повелось, что перелом в войне стали именовать коренным после Курской дуги. Только не ведали, что столетия назад под выжженным татарвой Курском была найдена икона Божьей Матери «Знамение». Образ прославлен как Курский и хранился в Коренной пустыни. Она, Спасительница наша, под Курском была, и перелом Курско-коренной – Пречистой Девы след.

Я, когда очнулся, не соображал ничего, контузило. Как танк наш подбили – помню, а вот как оказался на земле – нет. Встать не могу, и света белого не видно, только дым чернющий-пречернющий и огонь кругом. Всё полыхает: люди, танки, земля, небо, а я лежу и молюсь. Как мать учила. А людей, да не людей даже, а мяса палёного, кругом столько... всё пережжённой гарью человеческой пропахло.

Думал, в ад попал! Архистратига Михаила на помощь звал. Мать моя ещё до первой войны с немцами была в Москве с барыней. На паперти Чудова монастыря в Кремле – в церкви Архангела Михаила – барыня прочла и мать мою заставила выучить молитву эту. Так меня смирению, терпению, мужеству поучали, это чувства великие Архангела Михаила. Он благодаря этой смиренной благодати победил врага рода человеческого. В детстве на горох меня ставила и на соль, если её не пересказывал.

Вот я всё её и твердил и на столе операционном, когда бредил, и потом в госпитале, когда в себя приходил.

Фронтовик помрачнел, отвернулся к окну, перекрестился и начал бормотать. Я внимательно вслушивался в его шёпот, следил за тем, как двигались его губы, глаза его были закрыты, а спустя некоторое время я смог разобрать часть произносимого:

«Господи Боже, Великий Царю Безначальный!

Посли, Господи, Архангеля Твоего Михаила на помощь рабу Твоему Иакову изъятии мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра...»

Он перестал бормотать. Перекрестился. Улыбнулся. Опять посмотрел в окно и тихо вымолвил:

– Не унывай, вдаль смотри, она всегда светлая. Главное – чтобы в сердце всё хорошело, вот как сейчас на улице. Смотри, какая цветь нынче, как тогда, в сорок пятом, вот уж воистину благодать.

От этого маленького неказистого человека одновременно с тихим и трогательным его рассказом исходила напряжённость, которую вдруг сменяла какая-то сверхъестественная доброта. Человеческое тепло, исходившее от него, словно распространялось по комнате. Я сидел напротив, не издавая ни звука, мне было страшно сделать любое движение, я словно прирос к табурету.

– Ну, а что там потом... Госпиталь, гангрена, вот ноженьки-то мои и оттяпали. А после госпиталя приехал я домой, а меня не ждут. Злыдни эти, – и он указал рукой на дверь, – они меня не приняли, да и кому я такой нужен-то... Жил я опосля на вокзале. Там Ириша, царство ей небесное, пресветлый рай, меня и подобрала.

Меня взяла оторопь, а он всё говорил и говорил.

Вскоре подоспела бабушка, которая всё это время беседовала с дочерьми Якова Андреевича. Она сидела напротив крохотного старичка и держала его руки в своих ладонях. Его мозолистые кулаки казались очень сильными и одновременно высохшими, изъеденные ногти были жёлто-коричневого цвета. Сидели мы молча, и только изредка крошечная слеза катилась по небритой щеке ветерана. Бабушка встала, подвела меня к нему, я смущался, обнимая его. Он показался мне очень крепким и одновременно маленьким, как шестиклассник. Рукой я коснулся небольшого бугорка на его спине. Вздрогнул. Я гладил незнакомого человека, я гладил его горб. Он был стар, убог, сед, и он был велик. Старый солдат буквально вышел из огня, и мне казалось, что запах гари и пороха исходит от него. Я никогда не думал, что герой может быть таким! Этот маленький сгорбленный человечек обладал громадным чувством сердечности, он словно разгибался от этого ощущения. Яков Андреевич благословил нас, как-то вдумчиво посмотрел на меня и бабушку, потом еле слышно произнёс:

– Желайте всем счастья и счастливы будете! Ну, ступайте с Богом.

Прошёл год. Было холодно. В поезде бабушка вымолвила:

– Пасха ранняя, праздновать на снегу будем.

На вокзале я уговорил бабушку не заезжать на кладбище, а сразу навестить Якова Андреевича. Город детства моей бабушки показался мне мрачным, насквозь сырым. В день приезда мы узнали, что Якова Андреевича больше нет. Возвращаясь в Москву, глядя в окно поезда на леса и вымерзшие пустоши, окутанные снежным забытьём, бабушка нашёптывала молитву, которую я слышал от Якова Андреевича: *«Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша нас, грешных рабов своих Тамару и Александра, молящихся тебе и призывающих тебя и призывающих имя твое святое: ускори на помощь нам и услыши молитву нашу...»*